

Часть первая

ЛИЦО

1

Даме могло быть лет шестьдесят—шестьдесят пять. Я смотрел на нее, растянувшись в шезлонге против бассейна в спортивном клубе, расположенном на последнем этаже современного здания, откуда сквозь огромные окна виден весь Париж. Я ждал профессора Авенариуса, с которым подчас встречаюсь здесь, чтобы поболтать. Но профессор Авенариус запаздывал, и я смотрел на даму: она стояла одна в бассейне по пояс в воде и не сводила глаз с молодого инструктора в тренировочном костюме, учившего ее плавать. Следуя его указаниям, она держалась за край бассейна и делала глубокие вдохи и выдохи. Дышала она сосредоточенно, старательно, и похоже было, будто из глубины вод отзывается голос старого паровоза (для этого идиллического звука, ныне уже забытого, а кому и вовсе неведомого, нет более удачного сравнения, как с шумным дыханием пожилой женщины, стоящей у края бассейна). Зачарованный, я смотрел на нее. Своей трогательной комичностью (инструктор также осознавал ее, ибо то и дело у него подрагивал уголок губ) она притягивала мой взор до тех пор, пока один знакомый не окликнул меня и не отвлек моего внимания. Когда чуть позже мне снова захотелось взглянуть на нее, занятия уже кончились. Она в купальнике шла вдоль бассейна. Пройдя

мимо инструктора и оказавшись в трех-пяти шагах от него, она повернула к нему голову, улыбнулась и помахала рукой. У меня сжалось сердце. И улыбка, и этот жест принадлежали двадцатилетней женщине. Рука ее взметнулась вверх с чарующей легкостью. Казалось, будто она бросала в воздух цветной мяч, играя с любовником. Улыбка и жест были исполнены прелести и изящества, тогда как лицо и тело уже утратили всякую привлекательность. То была прелесть жеста, затонувшего в непрелести тела. Но женщина, хотя, вероятно, и сознавала, что уже некрасива, в то мгновение забыла об этом. Какой-то частью своего существа мы все живем вне времени. Возможно, лишь в исключительные моменты мы осознаем свой возраст, а большую часть времени мы — вне возраста. Как бы там ни было, но в то мгновение, когда дама, обернувшись, улыбнулась и помахала молодому инструктору (который не выдержал и прыснул), о своем возрасте она не помнила. Некая квинтэссенция ее прелести, независимая от времени, этим жестом явила себя на миг и поразила меня. Я был несказанно растроган. И всплыло в моей памяти слово «Аньес». Аньес. Ни одной женщины с таким именем я никогда не знал.

2

Я лежу в постели в сладком полусне. Уже в шесть часов, как только начинаю пробуждаться, я тянусь рукой к маленькому транзистору у изголовья и нажимаю кнопку. Звучат первые утренние новости, я едва способен разобрать отдельные слова и снова засыпаю, так что фразы дикторов превращаются в сновидения. Это самый прекрас-

ный отрезок сна, самая восхитительная часть дня: благодаря радио я ощущаю свое неизменное за-бытие и пробуждение, те самые чудесные качели между бодрствованием и сном, что сами по себе уже достаточный повод для нас не сожалеть о своем рождении. То ли мне снится, то ли я на самом деле в опере и вижу двух трубадуров в рыцарских доспехах, поющих о том, какая будет погода? Как же так, почему они не поют о любви? Но затем до меня доходит, что это дикторы, и они уже не поют, а шутливо перебивают друг друга. «Будет жаркий день, душно, гроза», — говорит первый, а второй игриво: «Серьезно?» Первый голос столь же игриво отвечает: «Mais oui. Прошу прощения, Бернар. Но это так. Придется потерпеть». Бернар громко смеется и говорит: «Это кара за грехи наши». А первый голос: «С какой стати, Бернар, я должен страдать за твои грехи?» Тут Бернар смеется еще громче, как бы давая понять всем слушателям, о какого рода грехе идет речь, и я понимаю его: то наша заветная мечта жизни — пусть все считают нас великими грешниками! Да будут наши пороки сродни ливням, бурям, ураганам! Когда нынче французы раскроют над головами зонтики, пусть вспомнят двусмысленный смех Бернара и изойдут завистью к нему! Я переключаю транзистор на соседнюю станцию, ибо хочу привлечь к близящемуся забытию более интересные образы. На соседней станции женский голос сообщает, что будет жаркий день, душно, гроза, и я счастлив, что у нас во Франции столько радиостанций и повсюду в одно и то же время говорится об одном и том же. Гармоническое сочетание однообразия и свободы — чего лучшего может желать себе человечество? Затем я снова поворачиваю ручку туда, где только

что Бернар выставлял напоказ свои грехи, но вместо него слышу другой голос, поющий о новой модели марки «рено», кручу еще, и хор женских голосов расхваливает распродажу мехов, переключая назад на станцию Бернара, улавливаю два последних такта гимна автомобилю «рено», и тут же вновь вторгается сам Бернар. Напевным голосом, напоминаям только что затихшую мелодию рекламы, он сообщает, что вышла новая биография Эрнеста Хемингуэя, сто двадцать седьмая по счету, но на сей раз истинно сенсационная, ибо из нее вытекает, что Хемингуэй за всю жизнь не сказал ни единого слова правды. Он не только преувеличил число ранений, полученных им в Первую мировую войну, но и изобразил себя великим соврастителем, тогда как доказано, что в августе 1944-го, а затем с июля 1956-го был полным импотентом. «О, возможно ли?» — смеется второй голос, и Бернар кокетливо отвечает: «Mais oui...» — и мы все вновь на оперной сцене, и с нами вместе импотент Хемингуэй, а затем вдруг какой-то весьма серьезный голос сообщает о судебном процессе, который в последние недели будоражит всю Францию: во время совсем несложной операции пациентка умерла из-за неудачно проведенной анестезии. В связи со случившимся организация, имеющая целью защищать так называемых потребителей, вносит предложение: все будущие операции запечатлевать на пленке и помещать в архив. Только так, утверждает организация по защите прав потребителей, можно будет гарантировать французам, умершему на операционном столе, что суд оплатит за него полной мерой. Затем я вновь засыпаю.

Когда я проснулся, было уже почти полдевятого, и я представил себе Аньес. Подобно мне, она

лежит на широкой кровати. Правая сторона кровати пуста. Кто же, однако, может быть мужем Аньес? Вероятно, он из тех, кто субботним утром рано уходит из дому. Поэтому она одна и сладостно балансирует между явью и сном.

Вот она встала. Напротив нее на длинной ноге, словно аист, стоит телевизор. Она бросает на него свою рубашку, закрывая ею экран, точно сборчатым занавесом. Теперь она стоит возле кровати, и я впервые вижу ее нагую. Аньес, героиню моего романа. Я не могу отвести глаз от этой красивой женщины, и она, словно почувствовав мой взгляд, убегает в соседнюю комнату, чтобы одеться.

Кто же такая Аньес?

Как Ева, сотворенная из ребра Адама, как Венера, рожденная из морской пены, Аньес возникла из жеста той шестидесятилетней дамы, что помахала возле бассейна инструктору и чьи черты уже расплываются в моей памяти. Тот жест разбудил во мне тогда бесконечную и неизъяснимую печаль, а из печали родилась фигура женщины, которую я называю Аньес.

Но разве человек, а уж тем более герой романа, не представляет собой единичного, неповторимого существа? Может ли тогда быть, чтобы жест, подмеченный мною у одного человека, связанный с ним, свойственный ему, выражающий его своеобразное очарование, одновременно выявлял и суть совершенно другого человека и моих фантазий о нем? Об этом стоит подумать.

Коль скоро с момента появления первого человека по земле прошло уже миллиардов восемьдесят человеческих существ, трудно предположить, что у каждого из них был свой собственный набор жестов. Арифметически это просто невысказано. Вне

всяких сомнений, на свете гораздо меньше жестов, чем индивидов. Это утверждение приведет нас к шокирующему выводу: жест более индивидуален, чем индивид. Мы могли бы выразить это в форме пословицы: *много людей, мало жестов*.

Рассказывая в первой главе о даме в бассейне, я заметил, что «некая квинтэссенция ее прелести, независимая от времени, этим жестом явила себя на миг и поразила меня». Да, тогда я воспринимал это так, но я ошибался. Жест не явил никакой квинтэссенции этой дамы, правильнее было бы сказать, что эта дама дала мне возможность узнать прелесть некоего жеста. То есть жест нельзя считать ни выражением индивида, ни его изобретением (ибо никакой человек не способен изобрести свой совершенно оригинальный и только ему свойственный жест), ни даже его инструментом; напротив, это скорее жесты пользуются нами как своими инструментами, носителями, своим воплощением.

Аньес оделась и вышла в переднюю. Там остановилась на секунду, прислушалась. Из соседней комнаты доносились неясные звуки, по которым она могла понять, что дочь уже встала. Словно желая избежать встречи, она ускорила шаг и вышла на лестничную площадку. В лифте нажала кнопку первого этажа. Но лифт, вместо того чтобы спускаться, стал дергаться, словно человек, пораженный пляской святого Витта. Не впервой лифт изумлял ее своими причудами. Однажды он вздумал подниматься, когда она хотела спускаться, в другой раз не давал открыть дверь и полчаса держал ее в плену. У нее было ощущение, что он намерен о чем-то поговорить с ней, что-то срочно сообщить ей своими грубыми средствами немого животного.

Уже не раз она жаловалась на него консьержке, но, поскольку с прочими жильцами он вел себя пристойно и нормально, консьержка сочла спор Аньес с лифтом ее личным делом и отказалась уделить ему внимание. На сей раз Аньес ничего не оставалось, как выйти из лифта и пойти пешком. Как только она сошла на несколько ступенек, лифт успокоился и спустился следом за ней.

Суббота всегда была для Аньес самым утомительным днем. Поль, ее муж, уходил из дому еще до семи и оставался на обед с кем-нибудь из своих друзей, тогда как она использовала свободный день, чтобы переделать кучу необходимых дел, гораздо более неприятных, чем работа в учреждении: ей приходилось тащиться на почту и с полчаса изнывать в очереди, делать покупки в торговом доме, ссорясь с продавщицей и теряя время в ожидании у кассы, звонить по телефону монтеру и умолять его прийти в точно установленное время, а не заставлять ее торчать из-за него целый день дома. Среди всех этих дел она стремилась найти часок-другой и сходить в сауну, куда на неделе не успевала, а конец дня проводила с пылесосом и тряпкой, поскольку уборщица, приходившая по пятницам, работала все небрежнее.

Однако эта суббота отличалась от всех прочих: прошло ровно пять лет, как умер отец. В памяти Аньес возникла сцена: отец сидит, склонившись над ворохом разорванных фотографий, а сестра кричит на него: «Что же ты делаешь, зачем ты рвешь мамины фотографии!» Аньес застывает за отца, и сестры ссорятся, переполняясь внезапной ненавистью.

Она села в машину, запаркованную у дома.

Лифт поднял ее на последний этаж современного здания, где помещался клуб с гимнастическим залом, большим плавательным бассейном, малым бассейном с подводным массажем, сауной, турецкой баней и панорамой Парижа. Раздевалку оглашал рвущийся из динамиков рок. Десять лет назад, когда Аньес стала ходить сюда, в клубе было мало членов и стояла тишина. Затем клуб год от году совершенствовался: в нем все больше становилось стекла и осветительных ламп, искусственных цветов и кактусов, все больше динамиков, больше музыки, равно как и больше людей, число которых, кстати, еще и удвоилось с того дня, как их стали отражать огромные зеркала, какими управление клуба распорядилось прикрыть все стены гимнастического зала.

Она подошла к шкафчику и стала раздеваться. Неподалеку от нее разговаривали две женщины. Одна из них тихим, неспешным голосом жаловалась, что ее муж все бросает на пол: книги, носки, газеты, даже спички и трубку. У второй было сопрано, и говорила она с удвоенной скоростью: французская привычка произносить последний слог фразы на октаву выше уподоблял ритм ее речи раздосадованному кудахтанью курицы: «Ты меня убиваешь! Терпеть этого в тебе не могу! Просто возмутительно! Ты должна втолковать ему! Он не смеет себя так вести! Это твой дом! Ты должна раз и навсегда втолковать ему это! Он не смеет делать все, что придет ему в голову!» Ее собеседница, как бы разрываясь надвое между подругой, чей авторитет признавала, и мужем, которого любила, меланхолически объясняла: «Ну а если

он такой. Он всегда все бросает на пол». — «Значит, он должен это прекратить! Это твой дом! Он не смеет делать все, что взбредет ему в голову! Растолкуй ему это раз и навсегда!» — говорила вторая.

Аньес в таких разговорах не принимала участия; она никогда не отзывалась о Поле плохо, хотя и знала, что это несколько отдаляет ее от остальных женщин. Она присмотрелась к обладательнице высокого голоса: то была молоденькая девушка со светлыми волосами и ангельским лицом.

«Еще чего! Что за вопрос — у тебя есть свои права! Он не смеет так себя вести!» — продолжала девушка, и Аньес заметила, что при этих словах она быстро из стороны в сторону поводит головой и одновременно поднимает плечи и брови, как бы выражая возмущенное удивление по поводу того, что кто-то отказывается признать права человека за ее приятельницей. Она знала этот жест: точно так поводит головой, приподнимая плечи и брови, Брижит, ее дочь.

Аньес разделась, заперла шкафчик и вошла распашными дверями в облицованный кафелем зал, где по одну сторону был душ, по другую — стеклянные двери, ведущие в сауну. Там на деревянных лавках, тесно прижавшись друг к другу, сидели женщины. На некоторых были особые пластиковые мешки, которые образовывали вокруг их тел (или отдельной части тела, в основном живота и зада) герметическую оболочку, так что на коже обильно выступал пот, и женщины полагали, что от этого они быстрее похудеют.

Она поднялась на верхнюю лавку, где еще было свободное место. Прислонившись к стене, закрыла глаза. Хотя сюда и не долетал шум музыки,

болтовня женщин, говоривших наперебой, была не менее громкой. В сауну вошла незнакомая молодая особа и уже с порога начала всеми командовать: она заставила всех усесться еще плотнее, затем, подхватив шайку, стала лить воду на печь, начавшую шипеть. Поднялся вверх горячий пар, так что сидевшая возле Аньес женщина скривилась от боли и прикрыла лицо руками. Незнакомка, заметив это, объявила: «Я люблю горячий пар! Так по крайней мере я чувствую, что я в сауне!» — протиснулась меж двух нагих тел и заговорила о вчерашней телевизионной передаче, на которую был приглашен известный биолог, только что издавший свои мемуары.

— Он был потрясающий! — сказала она.

Другая женщина одобрительно добавила:

— О да! И до чего скромный!

Незнакомка возразила:

— Скромный? Разве вы не заметили, что это невероятно гордый человек? Но эта гордость мне нравится! Обожаю гордых людей! — И она повернулась к Аньес: — Вам что, он тоже показался скромным?

Аньес пожала плечами, и незнакомка сказала:

— В сауне я люблю чувствовать настоящую жару. Чтобы как следует пропотеть. А потом сразу под холодный душ. Нет ничего лучше холодного душа, обожаю его! Не понимаю тех, кто после сауны идет под горячий душ! Горячий душ, по-моему, просто гадость!

Вскоре ей стало в сауне душно, так что, повторив еще напоследок, что ненавидит скромность, она поднялась и вышла.

Как-то раз, еще совсем девочкой, во время долгой прогулки Аньес спросила отца, верит ли он